



DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00016

А.С. Бокарев (Ярославль)

## «Я» КАК «ДРУГОЙ» В СУБЪЕКТНОЙ СТРУКТУРЕ ЛИРИКИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

**Аннотация.** Статья обращена к рассмотрению субъектной сферы лирики Арсения Тарковского в аспекте соотносительности категорий «я» и «другого». Методологическим ориентиром служит тезис М.М. Бахтина, согласно которому самопредставление человека заведомо неадекватно, и единственной возможностью узнать себя-подлинного является самообъективация, предполагающая позицию внеаходимости относительно любого момента биографии. Анализ показывает, что сюжет идентификации и становления личности в поэзии А. Тарковского можно считать центральным: несовпадение субъекта с самим собой (как правило, в прошлом) фиксируется последовательно и разнообразно. При этом герой нередко увиден со стороны – как «он» или «ты», а детство осмысляется им как идеальный модус существования, момент абсолютной самоотчужденности и максимального напряжения творческих сил. Взросление же, чреватое самоотчуждением, требует не только беспристрастного взгляда на себя, но и целенаправленной работы, призванной вернуть утраченное активно-деятельное отношение к жизни. Непременным условием его возвращения (которое, впрочем, может быть только временным) выступает разрешение внутренних конфликтов, а именно преодоление разобщенности «души» и «тела»: их единение является залогом стиходвижения, а изолированность ведет к «немоте», обесмысливающей любое усилие. Подробный разбор стихотворений «Река Сугакля уходит в камыш...», «Стань самим собой» и др. позволяет сделать вывод о том, что становление личности в поэзии Тарковского не имеет временных рамок, а его завершение, с точки зрения автора, синонимично смерти.

**Ключевые слова:** А. Тарковский; «я» и «другой»; самоидентификация; субъектная структура; диалогические отношения в лирике.

A.S. Bokarev (Yaroslavl)

## “I” as “the Other” in the Subject Structure of Arseny Tarkovsky’s Lyric Poetry

**Abstract.** The article deals with the subject structure of Arseny Tarkovsky’s lyrics in terms of relationship between the notions of “I” and “the Other.” Methodological reference point is Bakhtin’s concept that a man’s self-identification is obviously inadequate and the sole way to learn one’s true self is self-objectification, which implies a position of outsidership in relation to any moment in a biography. The analysis shows that the theme of identification and personality development in A. Tarkovsky’s poetry can be considered pivotal: the mismatch between the subject and the self (as a rule, in the past) is registered consistently and diversely. In this context, the character is repeat-



edly observed from the outside as “he” or “you,” while the childhood is perceived by him as an ideal mode of existence, a moment of absolute self-identity and maximum straining of creative power. The growing up, a process fraught with self-alienation, calls for not only an impartial look into oneself, but also a purposeful work that must bring back the dynamically active attitude to life. An indispensable condition of his return (which, incidentally, can be only temporary) is the resolution of conflicts, i.e., the overcoming of dissociation between “the soul” and “the body”; their unity is a basic premise of poetic creativity while isolation leads to “numbness” rendering any effort senseless and futile. A detailed analysis of the verses “The Sugakleya River Goes into the Reeds...” (“Reka Sugakleya ukhodit v kamysh...”), “Become Yourself” (“Stan’ samim soboy”) and others makes it possible to conclude that the personality development in Tarkovsky’s poetry has no time framework, while its completion, in the author’s view, is synonymous with death.

**Key words:** Arseny Tarkovsky; “I” and “the Other”; self-identification; subject structure; dialogue relations in lyrics.

Тезис М.М. Бахтина о том, что «эстетическое событие» совершается «лишь при двух участниках» [Бахтин 2003, 102], а «симпатически сопереживаемая жизнь оформляется не в категории *я*, а в категории *другого*» [Бахтин 2003, 155; здесь и далее в цитатах курсив авторов. – А.Б.], применительно к лирике, кажется, до сих пор не вполне осознан (представление о ее монологическом характере общеизвестно и закреплено вузовскими учебниками [Хализев 2013, 309]). Однако именно в этом роде литературы отношения субъектов – автора и героя – отличаются особенной сложностью: дистанция между ними не просто исторически изменчива, но и нестабильна даже в границах одной художественной системы [Бройтман 2004, 320]. Если принять за точку отсчета диалогическую природу лирики, то категория субъективности, которой оперируют исследователи, должна быть подвергнута ревизии: ее «уже нельзя... определять через понятие внутреннего» [Бройтман 2005, 257]. Закономерным в свете сказанного выглядит и функционирование в поэтике модальности такого типа речеведения, при котором говорящий смотрит на себя со стороны (как на «ты», «он», неопределенного субъекта, выраженного инфинитивом, состояние или субститут, отделенные от носителя, и т.д.) [Бройтман 1997, 85–86]. Указывая на затрудненность самоидентификации (а нередко – и на тотальное несовпадение протагониста с самим собой), данная субъектная форма во многом определяет «язык переживания» в лирике второй половины XX – начала XXI вв. Поэтические формулы, подобные «прозрениям» И. Анненского («А где-то там мнутся средь огня / Такие ж я, без счета и названья...» [Анненский 1999, 187]) или В. Ходасевича («Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот – это я?» [Ходасевич 1999, 230]), произносятся здесь без аффектации и воспринимаются как естественный и очевидный жизненный факт: «Читаю умный свой дневник / Военный и передвоенный. / Там нет меня. Там мой двойник, / Восторженный и вдохновенный» (Д. Самойлов) [Самойлов 2010, 195].



Стремление субъекта «настигнуть» свое «я» в изменчивом и непредсказуемом жизненном потоке требует, таким образом, не только психоэмоционального усилия, но и специфической «оптики» – взгляда на себя как на «другого» [Бахтин 2003, 97]. Если «самопредставление» человека «сконструировано и не соответствует никакому действительному восприятию» [Бахтин 2003, 116], то единственной возможностью обрести достоверное знание о себе-подлинном становится самообъективация, предполагающая позицию внеаходимости относительно любого момента биографии [Бахтин 2003, 96]. В лирике интересующего нас периода самоотчуждение «я», т.е. расщепление его на две внутренне связанных ипостаси, тяготеющие к разным полюсам субъектной структуры – автору и герою, характерно для целого ряда поэтов (И. Бродского, Л. Лосева, А. Кушнера, Б. Кенжеева и т. д.), чьи эстетические установки, впрочем, заметно разнятся. У Арсения Тарковского, о творчестве которого пойдет речь, появление субъектных форм, свидетельствующих о «раздробленности» личности, отличается особенной регулярностью, а рефлексия над ее предпосылками – высокой степенью интенсивности. Рассмотрение системы взаимоотношений «я» – «другой» в его стихах далее и будет нашей главной задачей.

В специальной литературе с героем А. Тарковского связано представление о поэте-демиурге, чей статус «универсального медиатора» [Левкиевская 2004, 341] между прошлым настоящим и будущим позволяет ему занять позицию «посередине мира» [Тарковский 1991–1993, I, 172] и стать соратником «своего народа по созданию словаря национального языка» [Левкиевская 2004, 342]. Сближаясь, благодаря словотворчеству (и творению словом), с множеством культурных, главным образом библейских, персонажей, сам он, однако, лишен абсолютной власти – «распоряжающийся временем и пространством, поэт не волен распоряжаться самим собой» [Чупринин 1983, 77]. Ученые отмечают полиипостасность героя, вызванную принципиальной открытостью чужому сознанию (домашний сверчок [Тарковский 1991–1993, I, 59–60], воин, убитый в сражении на Каяле [Тарковский 1991–1993, I, 61–62], переводчик-востоковед [Тарковский 1991–1993, I, 92–93], беженец [Тарковский 1991–1993, I, 105] и т.д. [Фетисова 2016, 281]), а также его способность «претерпевать бесконечные метаморфозы» [Резниченко 2014, 30]. В череде этих «превращений» (и в устойчивом напряженном контакте с «другим») как раз и оформляется авторская субъективность, а сюжет самоидентификации и становления личности в поэзии Тарковского можно считать центральным.

Так, начиная уже с ранних стихотворений ситуация растождествления субъекта с самим собой (как правило, в прошлом) приобретает характер инвариантной – дистанция между разновременными воплощениями «я» фиксируется последовательно и разнообразно. При этом герой нередко увиден со стороны, поэтому специфика его грамматического представления в тексте определяется местоимениями не только первого, но и второго и третьего лица. Вот лишь несколько наиболее репрезентативных примеров:



- «Под сердцем травы тяжелеют росинки, / Ребенок идет босиком по тропинке, / Несет землянику в открытой корзинке, / А я на него из окошка смотрю, / Как будто в корзинке несет он зарю» («Под сердцем травы тяжелеют росинки...») [Тарковский 1991–1993, I, 34];

- «Вот почему, когда мы умираем, / Оказывается, что ни полслово / Не написали о себе самих, / И то, что прежде нам казалось нами, / Идет по кругу / Спокойно, отчужденно, вне сравнений / И нас уже в себе не заключает» («Дерево Жанны») [Тарковский 1991–1993, I, 79];

- «Как дерево с подмытого обрыва, / Разбрызгивая землю над собой, / Обрушивается корнями вверх, / И быстрина перебирает ветви, / Так мой двойник по быстрине иной / Из будущего в прошлое уходит. <...> Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!» («Как дерево с подмытого обрыва...», цикл «После войны») [Тарковский 1991–1993, I, 141].

Перечень подобных контекстов можно было бы с легкостью продолжить, однако и приведенных цитат достаточно, чтобы обнаружить принцип, организующий субъектную сферу стихотворений. Если связь между «я»-в-прошлом и «я»-в-настоящем истончена (отсюда тема двойничества в одном из фрагментов), то любая попытка познать себя «изнутри» (и закрепить полученное знание словесно) заведомо обречена на неудачу. Сравнение человека с падающим деревом и метафоры кругового движения («... идет по кругу...», «...из будущего в прошлое уходит...») удостоверяют неукорененность героя в бытии, заставляющую мысленно вновь и вновь возвращаться к детству – «нулевому километру» жизни, где исходной гармонии ничто не омрачало. Поэтому мальчик, за которым наблюдает из окна лирический субъект, скорее очередной «двойник», нежели полноценный «другой», а заря в его корзинке, пусть и иллюзорная, интерпретируется как символ начала начал, истока существования. Детство вообще предстает у Тарковского как идеальный жизненный модус, однако исключительность этого времени объясняется не столько любовью близких или обаянием дорогого сердцу предреволюционного быта, сколько ощущением причастности мирозданию, недоступным взрослому. Названным чувством и обусловлен, согласно Тарковскому, истинный облик человека, поэтому на пристальное взглядывание в себя-в-прошлом направлены максимальные усилия.

Характерной попыткой «навести на резкость» является стихотворение «Река Сугакля уходит в камыш...», герой которого – инкарнация «я» в детстве – также увиден со стороны и помещен в особое, сродни эдемическому, пространство. Координаты последнего, как это часто бывает у Тарковского, прирастают символическими, хотя и вполне очевидными смыслами: река с плывущим по ней «корабликом» указывает на неистраченный (и кажущийся неисчерпаемым) запас времени, золотой песок под ногами ребенка – на переживаемое им счастье. Сходную семантику развивают и другие детали: яблоко, по мнению С.А. Манскова, сигнализирует о целостности мира, а стрекоза, типологически родственная бабочке [Таковский 1991–1993, I, 31], осмысляется как знак инобытия, «носитель»



и «переносчик» божественного слова [Мансков 2001, 64] (ср.: «Знал, что в каждой фасетке огромного ока, / В каждой радуге яркострекочущих крыл / Обитает горящее слово пророка, / И Адамову тайну я чудом открыл» [Тарковский 1991–1993, I, 65]). Не менее существенно, что перечисленные предметы, которые исследователь называет «бытийными» [Мансков 2001, 64], локализованы в руках героя: обладание ими приобщает его природе и наделяет творческой властью (см., например, стихотворение «Загадка с разгадкой», где субъект сближается с кузнечиком, культурным «близнецом» упомянутой выше стрекозы [Тарковский 1991–1993, I, 183–184]). Однако обрисованный порядок вещей, казавшийся незыблемым («И все навсегда остается таким...» [Тарковский 1991–1993, I, 31]), внезапно и без видимых причин отменяется – и именно в этой временной точке начинается самоотчуждение героя. Момент перехода от одного состояния мира (и восприятия себя в нем) к другому в лирике Тарковского неоднократно тематизируется, становясь сюжетной основой многих стихотворений и обогащаясь дополнительными подробностями.

Наибольший интерес в подобных текстах представляет как раз их сюжетное решение: если руки рассматривать в качестве «экрана», на который «выводятся» «бытийные предметы», то «уход» их из рук героя должен расцениваться не иначе как утрата творческой способности и обрыв контакта с мирозданием [Мансков 2001, 67]. Признания субъекта в жизненном дискомфорте или ограниченности поэтического дара неизменно сопровождаются упоминанием опустевших, а то и искалеченных рук: «Я руки свои отморозил / На холоде зимнем твоём, / Я душу свою молодую / Убил непосильным трудом» [Тарковский 1991–1993, II, 46]; «Больше сферы подвижной в руке не держу / И ни слова без слова я вам не скажу» [Тарковский 1991–1993, I, 74]. Вернуть же активно-творческое отношение к жизни, т.е. «совпасть» с собой-подлинным хотя бы временно, можно лишь в результате случайного «прозрения» (как в стихотворении «У лесника», где приметы чужого быта стимулируют возникновение «таинственного мира соответствий»: «И кружка, и стол, и скамья / Такие же точно, как в детстве» [Тарковский 1991–1993, I, 187]) или благодаря целенаправленной работе над собой (как в стихотворении «Кузнец», где процесс формирования человека уподоблен ручному (что немаловажно!) труду мастера: «Сам на себе я самого себя / Самим собой ковал – и горн гашу, / А все-таки работой недоволен...» [Тарковский 1991–1993, I, 281]). Наиболее регулярно становление героя идет последним путем и осуществляется как «самотрансценденция», когда «фактическое присутствие “я” в мире» нацелено на «актуализацию им своей виртуальной личности», понимаемой в качестве «экзистенциального предела... индивидуальности» [Тюпа 1998, 123]. Выход за собственные границы в данной системе координат рассматривается двояко: как обретение протагонистом беспристрастного взгляда на себя и как преобразование, позволяющее стать своей «лучшей версией».

В стихотворении с программным заглавием «Стань самим собой» говорится о необходимости выбрать «угол зрения», без которого объектив-



ное представление о себе невозможно. Подобно Гамлету, мечтающему о предназначении Моисея, человек обречен «играть в прятки <...> с судьбой» до тех пор, пока нужный ракурс не будет найден – но и уготованную роль придется выбрать из «миллиона вероятий» [Тарковский 1991–1993, I, 69]. Ракурс этот должен быть соотнесен с позицией наблюдателя, видящего себя, во-первых, как «другого» («...В одно смешались явь и сны, / Увидишь мир со стороны» [Тарковский 1991–1993, I, 69]), а во-вторых, в ряду «других» – условием самоидентификации является соотнесенность с чужим сознанием (отсюда интерес автора к литературному «портретированию»: в поле зрения субъекта попадают исторические лица, с которыми он себя идентифицирует, – В. Ван Гог, Комитас, О. Мандельштам, А. Пушкин, А. Секки, Г. Скворода и др.). В «Стань самим собой» в качестве такового выступает абстрактный «гений», «пророк», чей творческий путь в итоге отвергается как не соответствующий сущности героя. Склонность к «умалению» «я» (которой у Тарковского сопутствует противоположный посыл – к его «укрупнению») в данном случае ориентирует протагониста на совершенно иной опыт – не «гениальности», а преодоления ограниченности и слабости: «Найдешь и у пророка слово, / Но слово лучше у немого, / И ярче краска у слепца, / Когда отыскан угол зренья / И ты при вспышке озаренья / Собой угадан до конца» [Тарковский 1991–1993, I, 70]. Таким образом, не сверхчеловеческие способности или божественное покровительство, а истинное знание о себе и готовность меняться являются залогом успеха в любом начинании – в том числе и в поэзии.

Желание «пробиться» к подлинному «я» заставляет героя не только вглядываться в прошлое и усиленно трудиться над собой («вывернуться наизнанку» [Тарковский 1991–1993, I, 69] – самое малое, что он может сделать), но и прислушиваться к «запросам» души и тела, обнаруживающих разобщенность. Уже отмечалось, что «деление человеческой природы на внешнюю, тленную, и внутреннюю, бессмертную, части – общее место поэзии Тарковского» [Левкиевская 2004, 342]. Если душа, в соответствии с традиционными представлениями, отвечает за эмоции и творческое начало в человеке («И как ребенок “мама” говорит, / И мечется, и требует покровя, / Так и душа в мешок своих обид / Швыряет, как плотву, живое слово: / За жабры – хватя! и рифмами двоят» [Тарковский 1991–1993, I, 192]), то тело всего лишь ее «тюрьма» [Тарковский 1991–1993, I, 221], истерзанный «подневольный раб» [Тарковский 1991–1993, I, 319], жаждущий жизни вопреки нестерпимой тяжести существования («...И тело хочет жить, и разве это – я?» [Тарковский 1991–1993, I, 319] – вот характерный вопрос, которым задается лирический субъект). Из последней цитаты видно, что тело тяготит душу: в стихотворении «Только грядущее» оно уподобляется номеру гостиницы с минимальными удобствами, полюбить который нельзя, но привыкнуть к которому необходимо [Тарковский 1991–1993, I, 61]. Душе, согласно поэту, «грешно без тела», поскольку их единение является залогом стиходвижения, а изолированность ведет к творческой немоте и обесмысливает любое усилие: «Ни помысла, ни дела, / Ни замысла, ни



строчки» [Тарковский 1991–1993, I, 221]. «Стать самим собой» означает не просто увидеть себя как «другого», но и, руководствуясь обретенным знанием, собрать свою личность воедино – таков рецепт самоопределения и еще одна регулярно повторяющаяся ситуация в лирике Тарковского.

Неслучайно отделение субститутов в субъектной структуре текста характерно для произведений, описывающих кризисные состояния [Левкиевская 2004, 343], а их сюжеты предполагают два варианта развития: окончательное «рассеяние» «я», равносильное смерти («...И уже, наконец, над собою стою, / Отделяю постылую душу мою...» [Тарковский 1991–1993, I, 73]), и его «оцельнение», понимаемое как внутреннее перерождение субъекта (в «Полевом госпитале» возвращение души в тело после тяжелого ранения оборачивается поэтической инициацией – герой получает в распоряжение «словарь царя Давида» [Тарковский 1991–1993, I, 130–131]). Такая «вариативность» свидетельствует о незавершенности происходящей с героем метаморфозы: становление человека в лирике Тарковского не имеет временных рамок, ведь жить, по выражению М.М. Бахтина, значит «ценностно еще предстоять себе, не совпадать со своею наличностью» [Бахтин 2003, 95].

Таким образом, идеализация детства как момента абсолютной самоидентичности и напряжения творческих сил, ощущение несовпадения с собой-подлинным, приобретенное по мере взросления, иссякание теургических способностей и целенаправленное подавление внутренних конфликтов, препятствующих самоопределению, осознаются как специфические черты протагониста на протяжении более чем пятидесяти лет работы автора в литературе. В качестве постскриптума отметим, что сходная модель субъектной сферы, основанная на видении себя в качестве «другого», востребована и представителями следующих поэтических поколений – прежде всего О. Чухонцевым и С. Гандлевским, сознательно ориентированным на открытия старшего поэта. Выявление генетических и типологических связей их творчества с лирикой А. Тарковского представляется перспективным направлением для дальнейших исследований.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Анненский И.Ф. Лирика. Минск: Харвест, 1999.
2. Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 69–263.
3. Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: в 2 т. Т. 2. М.: Academia, 2004.
4. Бройтман С.Н. Лирический субъект // Введение в литературоведение. М.: МГУ, 2004. С. 310–322.
5. Бройтман С. Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М.: РГГУ, 1997.
6. Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре по-



эзии А.А. Тарковского // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М.: Индрик, 2004. С. 340–351.

7. Мансков С.А. Предметный мир поэзии А. Тарковского // Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. Гуманитарные науки. 2001. № 1–2. С. 63–69.

8. Резниченко Н. «От земли до высокой звезды»: мифопоэтика Арсения Тарковского. Нежин; Киев: издатель Н.М. Лысенко, 2014.

9. Самойлов Д.С. Счастье ремесла: избранные стихотворения. М.: Время, 2010.

10. Тарковский А.А. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Художественная литература, 1991–1993.

11. Тюпа В.И. Постсимволизм: теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара: Самарский муниципальный университет Наяновой, 1998.

12. Фетисова Е.Э. Феномен неокмеизма в творчестве Арс. Тарковского // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 5. С. 278–287.

13. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Academia, 2013.

14. Ходасевич В. Лирика. Минск: Харвест, 1999.

15. Чупринин С.И. Крупным планом. М.: Советский писатель, 1983.

## REFERENCES

### (Articles from Scientific Journals)

1. Fetisova E.E. Fenomen neoakmeizma v tvorchestve Ars. Tarkovskogo [The Phenomenon of Neo-acmeism in A. Tarkovsky's Poetry]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta*, Series: Russkaya filologiya [Russian Philology], 2016, no. 5, pp. 278–287. (In Russian).

2. Manskov S.A. Predmetnyy mir poezii A. Tarkovskogo [The Objective World of Poetry A. Tarkovsky]. *Vestnik Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki*, 2001, no. 1–2, pp. 63–69. (In Russian).

### (Articles from Proceedings and Collections of Research Papers)

3. Bakhtin M.M. <Avtor i geroy v esteticheskoy deyatel'nosti> [<Author and Hero in Aesthetic Activity>]. Bakhtin M.M. *Sobraniye sochineniy* [Collected Works]: in 7 vols. Vol. 1. Moscow, Russkiye slovari Publ., Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2003, pp. 69–263. (In Russian).

4. Broytman S.N. Istoricheskaya poetika [Historical Poetics]. *Teoriya literatury* [Literature Theory]: in 2 vols. Vol. 2. Moscow, Academia Publ., 2004. (In Russian).

5. Broytman S. N. Liricheskiy sub'yeckt [Lyrical Subject]. *Vvedeniye v literaturovedeniye* [Introduction to Literature Theory]. Moscow, MSU Publ., 2004,



pp. 310–322. (In Russian).

6. Levkiyevskaya E.E. Kontsept cheloveka v aksiologicheskom slovare poezii A.A. Tarkovskogo [The Concept of Person in the Axiological Dictionary of Poetry A.A. Tarkovsky]. *Yazyk kul'tury: semantika i grammatika. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Nikity Il'icha Tolstogo (1923–1996)* [Language of Culture: Semantics and Grammar. On the Occasion of the 80th Birthday of Academician Nikita Ilyich Tolstoy (1923–1996)]. Moscow, Indrik Publ., 2004, pp. 340–351. (In Russian).

### (Monographs)

7. Broytman S.N. *Russkaya lirika 19 – nachala 20 veka v svete istoricheskoy poetiki (sub'yektno-obraznaya struktura)* [Russian Lyrics of the 19<sup>th</sup> – the Beginning of the 20<sup>th</sup> Centuries in the Light of Historical Poetics (Subject and Image Structure)]. Moscow, RSUH Publ., 1997. (In Russian).

8. Chuprinin S.I. *Krupnym planom* [Close-up]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1983. (In Russian).

9. Khalizev V. E. *Teoriya literatury* [Literature Theory]. Moscow, Academia Publ., 2013. (In Russian).

10. Reznichenko N. *“Ot zemli do vysokoy zvezdy”*: Mifopoetika Arseniya Tarkovskogo [“From the Earth to a Tall Star”: Mythopoetics of Arseny Tarkovsky]. Nezhin, Kiev, N.M. Lysenko Publ., 2014. (In Russian).

11. Tyupa V.I. *Postsimvolizm: teoreticheskiye ocherki russkoy poezii 20 veka* [Post-symbolism: Theoretical Essays of Russian Poetry of the 20<sup>th</sup> Century]. Samara, Samarskiy munitsipal'nyy universitet Nayanovoy, 1998. (In Russian).

**Бокарев Алексей Сергеевич**, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы. Научные интересы: русская лирика второй половины XX – начала XXI вв., историческая поэтика, теория стиха.

E-mail: [asbokarev@mail.ru](mailto:asbokarev@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0002-8771-6065

**Aleksei S. Bokarev**, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Russian Literature. Research interests: russian lyrics of the second half of the 20<sup>th</sup> – beginning of the 21<sup>st</sup> centuries, historical poetics, theory of verse.

E-mail: [asbokarev@mail.ru](mailto:asbokarev@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0002-8771-6065